

І. МАРИНА ЦВЕТАЕВА О КРИТИКЕ

(МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ “ВСЕЛЕННАЯ ИМЕНИ ЦВЕТАЕВОЙ”)¹

Н.М. Шевченко

В статье раскрывается отношение Цветаевой к критике.

Ключевые слова: языковая личность, картина мира, диалог культур.

*Критика: абсолютный слух на будущее.
М. Цветаева.*

Марина Цветаева не только многогранный поэт, но и многогранная личность, добрый, отзывчивый и очень честный человек. В беседе всегда внимательно смотрела в глаза собеседника. На все она имела свое мнение и свои оценки. Не терпела несправедливости и особенно от тех, кто считал себя неуязвимым. Это, как правило, были критики и редакторы, от которых зависела ее судьба. Цветаева считала, что “первая добродетель критики – это зрячесть”. Именно этого не хватало многим критикам.. Цветаева разбиралась в “большом” и в “малом”. “Малому” она простить не могла: “Первая обязанность стихотворного критика – не писать самому плохих стихов. По крайней мере – не печатать. Критик, печатающий, сам объявляет: образцово. Посему:

единственный поэт, не заслуживающий снисхождения – критик, как единственный подсудимый, не заслуживающий снисхождения – судья. *Сужу только судей*” (5: 275)².

Она справедливо заявляет: “Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки” (5: 276). В жизни ей приходилось общаться с людьми разных профессий, различных рангов и положений в обществе. Ее воспитанность не позволяла давать советы, она всегда была слушателем и очень внимательным слушателем, понимая, чтобы иметь суждение о вещи, надо в этой вещи жить и любить ее. Но когда разговор касался поэзии, здесь Цветаева была неуправляема. Она поэзию знала, любила, понимала, она в поэзии жила: “Для меня стихи – дом, „хочу домой” с чужого праздника...” (4: 539).

Цветаева знала цену критике, знала и ее последствия. Она была хорошо знакома с русской,

немецкой, французской, итальянской критикой. И это давало ей право сказать: “Кто, в критике, не провидец-ремесленник. С правом труда, но без права суда. Критик – дилетант – накипь на поверхности сомнительного котла (публики). Что в нем варится? Темная вода. Темная и накипь” (5: 291). Как человек, преданный высшим ценностям бытия, Цветаева считала, что “Критик: увидеть за триста лет и за тридевять земель” (5: 280). Она читала всю критику о своем творчестве, но прислушивалась только к “большому” голосу, чей бы он не был: “Если мне о моих стихах говорит старик-раввин, умудренный кровью, возрастом и пророками, я слушаю. Любит ли он стихи? Не знаю. Может быть, никогда их и не читал. Но он любит (знает) все – из чего стихи, истоки жизни и бытия. Он мудр, и мудрости его на меня хватит, на мои строки.

Прислушиваюсь к раввину, прислушиваюсь к Ромену Роллану, прислушиваюсь к семилетнему ребенку, – ко всему, что мудрость и природа (5: 281). <...> Кого же я еще слушаю, кроме голоса природы и мудрости? Голоса всех мастеровых и мастеров” (5: 284). Цветаева считает, что “истинный критик – пророк” (5: 289).

Больше всех Цветаева презирала читателей понаслышке, которые Надсона в 1925 г. считают современником, а 60-летнего Бальмонта – подающим надежды юнцом. “Такому читателю имя – чернь. Такой читатель враг, и грех его – хула на Духа Свята” (5: 290). <...> Есть и критик – чернь. С легкой поправкой в степени безграмотности, о критике-черни то те, что и о читателе-черни. Критик-чернь – тот же читатель-чернь, но – мало – не читающий – пишущий (5: 291). <...> У этого типа “черни” изумительная осведомленность в личной жизни поэтов! Но это, как правило, критики “безымянные” <...> не много радости и от критики именной, бывает даже – именной. Прискорбная статья академика Бунина “Россия и Инония”, с хулой на Блока и на Есенина и явно – подтасованными цитатами (лучше никак, чем так!) долженствующими явить безбожие и хулиганство всей современной поэзии. (Забыл Бунин свою “Деревню”, восхитительную, но переполненную и пакостями и сквернословием.) <...> К статьям уже непристойным, отношу статьи А. Яблоновского о Ремизове, А. Яблоновского о моей “Германии” и А. Черного о Ремизове. Не сомневаюсь, что перечислила не все” (5: 292). Всю формальную критику М. Цветаева сравнивает с “Советами молодым хозяикам”: “„Красивая музыка”, „красивые стихи” – мерило музыкальной и поэтической безграмотности. Дурное просторечие” (5: 277).

Ей часто предлагали написать отзыв на то или иное произведение, но она всегда отвечала одинаково: “Я не знаю, как это делается”. Подружески всегда могла посоветовать или высказать свое мнение. Но ее оппоненты это делали легко и не задумываясь. Врожденная эмоциональность Цветаевой обеспечила ее творчеству очень много недоброжелателей. Одни говорили о “непонятности”, другие – о дурном вкусе, третьи – о надломленности, упрекая в бессмысленности. В письме к Раисе Николаевне Ломоносовой она пишет: “Мне часто говорят, еще чаще – говорили, что у меня вместо сердца – еще раз ум, – что отнюдь не мешало – критикам например – обвинять меня в бессмысленности” (7: 319). Но даже те, кто восхищался талантом Цветаевой, не могли убедить недоброжелательные голоса Георгия Адамовича, Игоря Демидова, Марка Вишнякова и др. В письме к Александру Васильевичу Бахроку она признается: “Я не люблю критики, я не люблю критиков. Они в лучшем случае производят на меня впечатление неудавшихся и по-сему озлобленных поэтов. <...> Но хвала их мне еще неприемлемей их хулы: почти всегда *мимо, не за то*” (6: 558).

Несправедливые отзывы и отказы в различных издательствах загоняют Цветаеву в угол только материально. Духовно она сильна: “Живу лишь в моих тетрадях – и долгах – и если изредка раздастся мой голос, то это всегда *правда*, без всякого расчета” (7: 360). В письме к Р.Б. Гулю она, раскрывая лицемерие некоторых эмигрантов, признается: “В Праге профессор Новгородцев читает 20-ую лекцию о крахе Западной культуры, и, доказав (!!!) указательный перст: Русь! Дух! – Это помешательство. – Что с ними со всеми? Если Русь – переходит границу, иди домой, плетись. <...> Я скоро перестану быть поэтом и стану проповедником: против *кривизны*. Не: не хочу людей, а не могу людей, повторяя чью-то изумительную формулу: “Меня тошнит рядом с ближним” (6: 521).

После выступления Маяковского в Париже, Цветаева отправила ему – ликующий зов: “Россия еще жива! А на другой день меня выкинули из всех эмигрантских газет <...> – дескать, “советская, опасная”... Меня, которая в разгар революции в 1919-м, *самом страшном* году, перед залом в 2000 человек вещала с эстрады о своей любви к последнему царю” (7: 360), – сообщает Цветаева в письме к Н. Вундерли-Фолькарт.

Цветаева терялась перед материальными трудностями: “Изнурительная, удушающая нищета, распродают вещи, что были мне подарены

<...> Я умею только писать, только *хорошо* писать, иначе давно бы разбогатела. Целых шесть месяцев я работала, переводя на французский мою большую поэму “Молодец”, теперь она готова, выйдет в свет с рисунками Натальи Гончаровой, великой русской художницы, но когда, где?”, – признается она Н. Вундерли-Фолькарт (7: 359).

Она пишет С.Н. Андрониковой-Гальперн: “Мне сегодня дали прочесть в газете статью Адамовича, где он говорит, что я (Марина Цветаева) хотя и хорошо пишу, но – *ничейный* путь. Соломея, он совершенно прав, только это для меня не упрек, а высшая хвала, т.е. правда обо мне, о правде поэтов сказавшей: “Правда поэтов – тропа зарастающая по следам” (7: 152). Необычайный талант Цветаевой часто приводил к размолвкам, ссорам и скандалам. Она пишет А.В. Бахраку, собираясь в Берлин: “Приеду недели на две. Думаю, достаточный срок, чтобы со старыми перессориться и с новыми подружиться” (6: 575).

Цветаева страдала из-за отношения к себе эмигрантской среды. В это время признанным лидером эмигрантской критики был Георгий Адамович, который не мог понять ее просодии. Марина Ивановна считает, что для нее главное – вовсе не мнение невежественной и непостоянной публики Она не прощала ни друзьям, ни врагам: “Я очень злопамятная и никогда никому не прощаю обиды” (6: 20). Это можно подтвердить живым примером: когда Г. Адамович в одном из отзывов обвинил Цветаеву в пренебрежении школьным синтаксисом, она доказала, что в этом же отзыве автор прибегает к неграмотно оформленному обороту: “... сухим, дерзко-срывающимся голосом <...> Г. Адамовичу хотелось дать сразу впечатление и дерзости и сорвавшегося голоса, ускорить и усилить впечатление. Не подумав, схватился за тире. <...> Дерзким, срывающимся – да, срывающимся до дерзости – да, дерзко-срывающимся – нет. Врачу, исцелился сам!” (5: 276).

Большая часть ее знакомств была кратковременна. Очень быстро разрушились хорошие отношения с Вишняком, с Эренбургом, с Ремизовым и др. Марина шла напролом. “Я дерзка только с теми, от кого завишу” (1: 434 НЗК). Она пишет В.Ф. Ходасевичу: “Нет надо писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, ни Вишнякам, ни “бриджам”, ни всем и так далеко – этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта – прозаика, а из прозаика – покойника” (7: 466). Этим самым она бросает вызов окружающим. Во всех случаях инстинкт подтал-

кивает ее к отрицанию. “Негодование – вот что во мне растет с каждым годом – днем – часом. Негодование. Презрение. Ком *обиды*, растущий с детства. Несправедливо. Неразумно. Не побожески. Есть у Блока эта интонация в строчке: Разве *так* суждено меж людьми?”, – пишет Цветаева В.П. Сосинскому (7: 84). С самого начала у Цветаевой не сложились отношения с Мережковским, Буниным, Зинаидой Гиппиус. Она понимает, что “...я, *лично*, – легкомыслием своим и воспитанностью своей – всегда все свои деловые дела порчу” (6: 574). Несправедливые замечания в свой адрес Марина не простила даже самым близким. Она пишет П. Балакшину: “Я очень одинока в своей работе близких друзей, вернее – у нее (моей работы) среди писателей нет: для старых (Бунин, Зайцев и т.д.) я слишком *нова* (и сложна), для молодых – думаете: стара? – нет! Слишком сильна (и проста)... Мне здесь (и здесь!) ни с кем не по дороге” (7: 636).

Цветаева никогда не была к себе снисходительна, она не позволяла себе ни расслабленности, ни небрежности – каковы бы ни были средства выражения. Перейдя от стихов к прозе, она не потеряла собственного голоса. “Прозу пишу редко, скорей в порядке события, а не состояния”, – признается она Д.А. Шаховскому (7: 25). Хорошо понимая, чего нельзя, она именно это и делала. У нее были свои авторитеты: она не признавала нового написания – без ятей и ерей; не придерживалась она и нового календаря; к любому знакомству подходила индивидуально и осторожно, отзывчива на чужую беду. “...приехал из Берлина – работать в Париже известный в России художник (ряд картин в Третьяковке и в петербургском музее бывшего Александра III, <...> Он абсолютно благороден, я за него ручаюсь во всех отношениях. Ему необходимо помочь” (7: 144), – обращается она в письме к С. Н. Андронниковой-Гальперн. Тех, кто понимал Цветаеву, было мало: Анна Антоновна Тескова, Саломея Андроникова-Гальперн, Зинаида Шаховская, Елена Извольская, Вера Лурье. Преданного друга нашла Цветаева в лице Владимира Брониславовича Сосинского. Он восторгался ее стихами и всегда был готов помочь. Цветаева знала, что в трудную минуту могла рассчитывать на него. Он вызвал на дуэль недоброжелательного критика, публично оскорбившего Цветаеву, и добился от недуглесобразного писака извинений (В.Л. 1991, №6, с. 197–207). Но этого было мало для чуткой и возвышенной души Цветаевой. Она пишет А.А. Тесковой: “Мне все еще нужно, чтобы меня любили: давали мне любить себя: во мне нуждались – как в хлебе”. (6: 438).

В Море-Сюр-Луан она получает письмо и сборник стихов от молодого поэта Анатолия Штейгера. Стихи очень грустные, с душевным надломом. Цветаева предлагает ему бескорыстную поддержку. Но ... увьи! “Мне поверилось, что я кому-то – как хлеб – нужна. А оказалось – не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я – а Адамович <...> – Горько. – Глупо. – Жалко”, – продолжает она душевные признания Анне Антоновне Тесковой (6: 442). А Штейгеру она пишет: “Если бы Вы ехали в Париж – в Национальную библиотеку или поклониться Вандомской колонне – я бы поняла; ехали бы туда саможигаться на том, творческом, Вашем костре – я бы приветствовала. Если бы Вы ехали в Париж – за собственным одиночеством, <...>, я бы протянула Вам обе руки, которые тут же бы опустила: будь один! Но Вы едете к Адамовичу и К°, к ничтожествам, в ничтожество, просто – в ничто, в *богему*, которая пустота большая, чем ничто; сгорать ни за что – ни во чью славу, ни для чего даже тепла – как Вы можете, Вы, поэт! <...> Я же могу взять на себя судьбу – всю. Но не могу и не хочу брать на себя случайности (тей). Лень и прихоть – самые меня отвращающие вещи, слабость – третья” (7: 619).

По возможности, чаще через обращения к друзьям и знакомым, ей удается помочь некоторым бедствующим в эмиграции. За себя Цветаева просить не могла. В данном случае побеждают разум и внутренняя организованность Цветаевой. Ее больше тревожит чужая беда: “Столько бед вокруг, <...> что забываешь о своих”. (7: 144). Елена Извольская вспоминала: “На наших глазах Марина Цветаева писала, на наших глазах также – увьи! – трудилась непосильно, бедствовала, часто голодала... . Такую нищету в русской эмиграции мне редко пришлось видеть. Мы, ее медонские соседи, тем более делили ее заботы, что постоянно у нее бывали. Чем могли, ее “выручали”, но она нам со своей стороны столько давала, что ничем, абсолютно ничем нельзя было ей отплатить”. (Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Годы эмиграции. – М.: Аграф, 2002. – С. 222 – 223.)

В 1924 г. Цветаева заканчивает работу над “Молодцем”. Сама Марина влюблена в эту поэму, но с трудом ей удается пристроить вещь в издательство. Она пишет О.Е. Колбасиной-Черновой: “Рецензию в “Звене” не читала, но знаю от вегетарианца, что есть таковая. Но так как в “Звене” меня всегда ругают – не тороплюсь” (6: 752). На этот раз предчувствие Цветаеву обмануло. Рецензия на поэму “Молодец”,

напечатанная в “Звене” (1925, № 129. 20 июля), имела высокую оценку. Г. Адамович писал: “Нельзя сомневаться в исключительной даровитости Марины Цветаевой. <...> “Молодец” в целом – очаровательнейшая вещь, свежая, истинно-поэтическая” (6: 778).

В 1928 г. выходит сборник “После России”. Цветаева питала большие надежды на этот сборник и не обманулась в своих ожиданиях. Критика высоко оценила стихи. Первый отзыв на сборник “После России” появился за подписью М. Слонима в газете “Дни” (17 июня 1928 г.). Сразу вслед за ним были опубликованы рецензии В. Ходасевича (Возрождение. – 1928. – 19 июня.), Г. Адамовича (Последние новости. – 1928. – 21 июня).

“Трагическая муза Цветаевой всегда идет по линии наибольшего сопротивления. Есть в ней своеобразный максимализм, который иные называют романтическим. Да, пожалуй, это романтизм, если этим именем называть стремление к пределу крайнему и ненависти к искусственным ограничениям – чувств, идей, страстей... Стихи и в самом деле полны такой подлинной страсти, в них такая, почти жуткая насыщенность, что слабых они пугают, – им не хватает воздуха на тех высотах, которые влечет их бег Цветаевой” (Марк Слоним).

“Эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока. Цветаева словно так дорожит каждым впечатлением, каждым душевным движением, что главной заботой становится – закрепить наибольшее число их в наиболее строгой последовательности, не расценивая, не отделяя важного от второстепенного, ища не художественной, но скорее психологической достоверности. Ее поэзия стремится стать дневником...” (Владислав Ходасевич).

“Почему стихи Цветаевой мне все-таки нравятся и почему наконец “плюсы” их в моем представлении перевешивают “минусы”. Дело в том, что один из этих плюсов исключительно велик и значителен, и его ничто перевесить не может: стихи Цветаевой эротичны в высшем смысле этого слова, они излучают любовь и любовью пронизаны, они рвутся к миру и как бы пытаются заключить весь мир в объятия. Это – их главная прелесть. Стихи эти писаны от душевной щедрости, от сердечной расточительности, – не знаю, как сказать яснее. Можно действительно представить себе, что от стихов Цветаевой человек станет лучше, добрее, самоотверженнее, благороднее. Признаюсь, я не нахожу в себе

ни сил, ни желания довести эстетизм до такого предела, чтобы, сознавая это, стихи Цветаевой отвергнуть. Поэтому я их “принимаю”. И все оговорки мои не колеблют этого основного признания” (Георгий Адамович).

По просьбе Марка Львовича Слонима она пишет статью “О новой русской детской книге”. Газета заказав – отклонила, сочтя слишком хвалебным по отношению к большевицкой интеллигенции: “Качество стихов: превосходное. Читаешь, восхищаешься. *Пишет высокая культура стиха.* Так в моем детстве и поэты для детей не писали... В Англии, когда ребенок переходит улицу, все останавливается. В России ребенок все приводит в движение... “Его Величество Ребенок” – это сказала Европа, а осуществляет Россия. Закончу спокойным и удовлетворительным утверждением, что русская дошкольная книга – лучшая в мире” (5: 324). С грустью Марина сообщает в письме к Тесковой: “Высылаю Вам Новую газету – увы, без своей статьи, и очевидно без своего сотрудничества впредь. Как поэта мне предпочли – Ладинского, как “статистов” (от “статьи”) – всех. Статья была самая невинная – О новой русской детской книге. Ни разу слова „советская”” (7: 134). Ее *ГОЛОС* кричит: “Чувство, что литература в руках малограмотных людей. <...> О будь они прокляты, Милюковы, Рудневы, Вишняки, бывшие, сущие и будущие, с их *ПОДЛОЙ*: политической меркой (недомеркой?)” (7: 255).

Г.В. Адамовичу принадлежат более 40 откликов на произведения Цветаевой, откликов самых различных, от хулы до хвалы, но чаще всего содержащих и то, и другое. Критические статьи о поэзии и поэтах в периодике, вместе с подобными статьями еще нескольких критиков, послужили поводом для написания статьи “Поэт о критике”. Статья задела многих. После статьи “Поэт и время” от Цветаевой отвернулись почти все соотечественники – признана и отвергнута: “Громовая статья П. Струве (никогда не пишущего о литературе), статьи Яблоновского, Осоргина, многих, – всех задетых (в частности Ю. Айхенвальда и З. Гиппиус) <...> – чья-то зависть – чья-то обойденность – и я на улице, я – что! – дети” (6: 259). Валентину Федоровичу Булгакову она пишет: “В Париже мне не жить – слишком много зависти. Мой несчастный вечер, еще не

бывший, с каждым днем создает мне новых врагов. <...> Прибедняться и ласкаться я не умею, – напротив, сейчас во мне пышнее, чем когда-либо, цветет ирония. И “благодетели” закрывают уже готовую, было, раскрыться руку (точней – бумажник!) <...> Насколько чище и человечнее литературная Прага! <...> (здешние – *хамы*. Почитайте Яблоновского (“Возрождение”) и Адамовича (“Звено”) о Есенине!” (7: 11).

Большое влияние на критику в Париже оказывал литературный салон Мережковского и его жены Зинаиды Гиппиус – она же соперница Марины по перу – сделала все возможное, чтобы Цветаева не печаталась, но это не первый и не последний людской ход: “Сколько водили меня по черным ходам жизни, заводили и бросали, – выбирайся как знаешь. Что я в жизни видела, кроме черного хода? и чернейших людских ходов?” – с горечью пишет Цветаева в “Воспоминаниях о современниках” (4: 196). В письме к Ю.П. Иваску Марина признается: “Надо мной здесь люто издеваются, играя на моей гордыне, моей нужде и моем бесправии. <...> Мою последнюю вещь (Сказка матери) – *изуродовали*: сорок самовольных редакторских сокращений посреди фразы. Убирали эпитеты, придаточные предложения, иногда просто *два слова* (главных! от, ради чего – вся фраза. Ведь это детская речь!)

Сказка матери – *не моя вещь*. Отказываюсь” (7: 398). В 1934 году, 12 марта в Литературной газете появляется статья “Да был ли мальчик?..”, где советский журналист Г. Хохлов писал: “... Марина Цветаева – очень талантливый человек, гибнущий от злой патристической косности и социального одичания”. Цветаева была внимательным критиком и замечательным публицистом. В поле ее зрения – не только русская, но и вся мировая литература. Свое мнение она имела всегда, но никогда о своем собрате не сказала плохо: советовала, делилась опытом и всегда великодушно отмечала удачи и победы, если даже не была лично знакома с адресатом. По этому поводу Г.В. Адамович в газете “Новое русское слово” (Нью-Йорк, 1951, 13 мая) писал: “...чутье у нее было острое и в стихах она, во всяком случае, толк знает. С ее оценками в этой области не считаться нельзя...” (7: 654). Так оно было и есть!